

Н

есколько устойчивых репутационных мифов сопровождали Ивана Алексеевича Бунина в течение всей его жизни. Один безоговорочно включал Бунина в число писателей, не преодолевших традицию, другой так же безапелляционно относил его к числу дворянских снобов. Оба мифа возникли при жизни писателя, оба, как нетрудно в этом убедиться, обратившись к его творчеству и биографии, скорее пристрастны, чем точны, но оба сохранились до наших дней.

Следуя версии о бунинском «традиционализме», современники с интервалом в несколько лет дважды отметили его Пушкинской премией — в 1903 и 1909 годах. Тогда же тридцатидевятилетний Бунин был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1909). Как известно, репутация «классика» в эпоху перемен намекает на эпигонство, добротную, но все же вторичность. Поэтому вышеозначенные знаки внимания были почетными, однако их трудно было счесть безусловным признанием, а уж тем более популярностью. Не случайно К. Чуковский заметил, что доброжелательные отзывы на бунинские публикации воспринимались «микроскопически малым количеством» на фоне повального увлече-

нии современников то Максимом Горьким, то Леонидом Андреевым. И даже признание Нобелевской премии для рьяных поклонников новизны в искусстве XX века оказалось не бесспорным. Итоговая формулировка Шведской королевской академии свидетельствовала, что И. А. Бунин удостоен ее «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Скорее всего, именно это устоявшееся мнение вызвало афористическую реплику М. Цветаевой, со свойственным ей максимализмом утверждавшей: «Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи».

Удивительно, но оценка склонной к аффектации Цветаевой не противоречила и более поздним оценкам советских литературоведов, вполне предсказуемо противопоставлявших Бунина основоположнику пролетарской литературы. Нобелевский лауреат именовался ими «певцом умирающих дворянских усадеб», не принявшим советскую власть в силу закоренелого барства собственной натуры.

Отметим, что подобные обвинения преследовали писателя, который во всю свою жизнь не имел собственного дома, даже традиционного «родового гнезда». Напомним, что дом в Воронеже, где родился Иван Алексеевич, Буниным не принадлежал. Семья снимала комнаты в доме губернской секретарши Анны Германовской и покинула город, когда будущему Нобелевскому лауреату не было четырех лет. Его детство прошло в Елецком уезде на хуторе Бутырки, единственном, оставшемся в семейном владении. Так что не имения и собственность унаследовал он от отца, но его натуру, характер, манеры. Современники неизменно отмечали барскую осанку Ивана Алексеевича, его умение держаться, чувствовать себя легко и свободно с разными людьми, врожденную эlegantность — качества, ценимые писателем в отце.

Не столь безусловен и миф о его сословной гордости. Несмотря на древность рода Буниных, внесенного в «Гербовник дворянских родов», в «Автобиографической заметке» (1915) писатель отметил, что «чуть не с отрочества был “вольнодумец”, вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею».

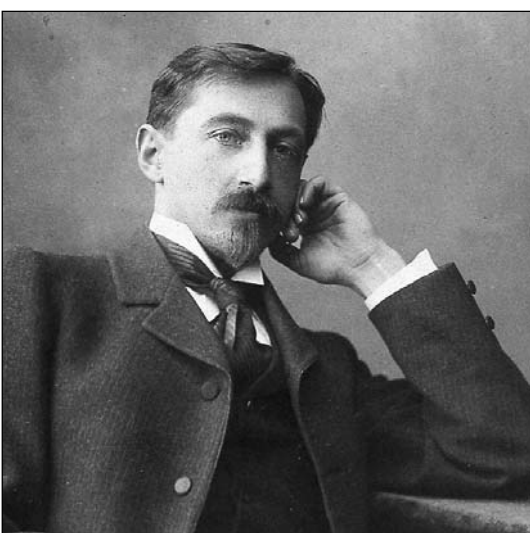
Факты реальной, не мифологизированной биографии Бунина подтверждают верность этого утверждения. Он никогда не забывал, где прошли его детство и юность, опыт и впечатления которых были для него не менее глубоки и важны, чем наследственная память.

«В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окон экспресса...», — свидетельствовал зрелый писатель. Потому, говоря о его творческом наследии, мы должны чаще обращаться к «истоку дней» (название одного из бунинских рассказов о детстве), к бунинским размышлениям, чем к фактам семейной истории. В духовной жизни Бунина — начала того уникального художественного мира, который уже полтора столетия неизменно покоряет читателя. Этот мир удивительно пластичен, красочен, звучен, наполнен запахами русской природы, уникальными приметами русского быта. Но в нем присутствует и глубина мировой памяти, представление о нескончаемости мира как во времени, так и в пространстве. Бунинское умение сочетать родное, национальное и всемирное, космическое рождало философские строки его лирики:

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

«В горах». 1916

Разумеется, эту особенность мы без труда обнаружим в той самой русской классике, продолжателем традиций которой согласно считали И. А. Бунина его современники. Однако все дело в том, что на фоне ее титанов Бунин не поте-



Иван Алексеевич Бунин

ялся, нашел свою интонацию, свою тему, свои краски. Именно это фиксировали те его современники, которые имели в виду дух традиции, а не ее эпигонское копирование. В их числе был многолетний бунинский собеседник-противник М. Горький. При первой же встрече он сказал своему новому знакомому: «Вы же *последний писатель от дворянства*, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого» (Курсив мой. — Т.Н.). Эти слова можно было бы отнести к числу дежурных, комплиментарных, однако Горький знал и ценил бунинское творчество, его героев, весьма не просто соотносимых с толстовской, а уж тем более с пушкинской традицией. И он понимал,

что писатель бунинского масштаба не мог быть эпигоном, что он вел диалог с классикой из реальности XX века.

Сходным образом свои отношения с классикой оценивал и сам Бунин. В период работы над повестью «Суходол» он заметил: «Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев, и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и *душа ее была гораздо типичней для русского*, чем ее описывают Толстой и Тургенев. <...> Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская» (Курсив мой. — Т.Н.).

Разумеется, смысл этого замечания не в отказе от родства с русской классикой. Известно бунинское отношение к Л.Н. Толстому, А.П. Чехову — читайте книгу «Освобождение Толстого» (1937), незавершенные воспоминания «О Чехове» (1953). Суть в другом. «Традиционалист» Бунин остро чувствовал свое время, откликался на его запросы по-своему, предлагая посмотреть на, казалось бы, знакомые сюжеты с новой стороны. Примером может служить знаковая для русской литературы повесть «Деревня» (1910). Ее публикацией писатель навлек на себя не только обвинения в «очернительстве» русского народа, но и вызвал высокую оценку Горького, который сказал, что она заставляет «разбитое и распатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России».

Так высоко и масштабно оценивая повесть, Горький был абсолютно прав. «Деревня» была пророческим текстом, думой о России и ее будущем. Высокая оценка повести между тем не означала родства позиций писателей. В оценке крестьянина и будущей России они расходились весьма существенно. Пролетарский писатель, резко критично относившийся к крестьянству, не верил в возможность социальной динамики и увидел в бунинской повести приговор прежней России. Од-

нако бунинская «Деревня», несмотря на беспощадную реалистичность изображения, не была приговором ни России, ни мужику.

Вернемся к рассмотрению его позиции. В повести «Деревня» главный предмет его размышлений — русский крестьянин, мужик. Повесть дает широкую панораму крестьянских типов предреволюционного десятилетия. Самый привычный и освоенный русской литературой тип бедного крестьянина представлен в ней Серым и его сыном Дениской, но главные писательские размышления связаны с историей братьев Красовых.

Один из них, Тихон, купил ту самую деревню, в которой его прадед был крепостным. Казалось бы, перед нами сюжет социального восхождения героя, своего рода реализация «американской мечты». Но в том-то и дело, что Тихон для Бунина не только «мирод». Разумеется, Тихон делец, его интересуют деньги, но довольно скоро выясняется, что приобретенная им деревня — «обуза», ценность давно ушедших времен. «Тут, в этой яруге (Дурновке. — Т.Н.), не развернешься», — оценивает он невозможность собственного дальнейшего движения. Именно «пассионарности» Тихона не заметила литературная критика тех лет, а именно в ней заключалась главная новизна повести.

Сорокапятилетняя история рода Красовых уходила во времена крепостного права. Их прадед был крепостным, почти песенным Ванькой-ключником, которого обманутый барин затравил собаками. «Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. <...> А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, зашил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма».

В целом невеселая история, в которой реализованы доступные крестьянину социальные модели посткрепостнической эпохи. Тихон и Кузьма в новые времена ставят перед собой более амбициозные задачи. И оба их реализуют: Кузьма выпустил книгу своих стихов, Тихон на зависть всей Дурновке «доконал» потомка обнищавших господ, «полного и ласкового барчука...».

Интересно, что успешность каждого из братьев оценена «извне», не самими героями. Так, Тихону польстило, что брат стал «автором», а приобретение Дурновки Тихоном вызвало восхищение мужиков, которые «так и ахнули от гордости, когда взял он (Тихон. — Т.Н.) дурновское именище: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!» Братья же считают свои жизни проигранными: «Оба мы с тобой дурновцы!»

Недовольство братьев своими жизнями писатель в «Окаянных днях» объяснит склонностью любого русского человека, не только простолюдина, к «идеализму». «Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного», — цитирует Бунин в дневнике революционных лет «признание Герцена». «Идеализм» в таком контексте — одушевленность чем-то большим, исключительным, нежели обыденность, повседневность. Бунин усматривает его присутствие не только в размышлениях А.И. Герцена, но и у самого нищего дурновского мужика Серого, который «вид ...имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не попадало дела настоящего, да и только!» Так, в беспредметном ожидании, и проходит жизнь Серого, отравленная бесплодной мыслью «о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе». В «Окаянных днях» подобные бесплодные ожидания увидены на широком, общенациональном фоне.

«Да, уж чересчур привольно, с *деревенской вольготностью*, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, даже тот, кто был обделен, у кого лапты были разбиты, лежал, задерживая эти лапты, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены. <...> А отсюда, между прочим, и

идеализм наш, в сущности, *очень барский*, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. <...>

Отсюда Герцены, Чацкие. Отсюда же и Николка Серый из моей “Деревни”, — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то “настоящая” работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность...» (Курсив в цитате мой. — Т.Н.).

Как видим, горько пережив «окаянные дни», писатель не отказался от тех выводов, к каким вела повесть: «А “Деревня” вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?»

Риторический вопрос, завершающий цитату, — оценка Буниным позиции «друзей народа» из интеллигенции, и в 1910-е годы, и в годы революции оставшихся в плену собственных «книжных» представлений. «...не врете вы на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитовых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег», — горячо отрицает их позицию автор «Деревни».

Выразительная галерея крестьянских типов, созданная Буниным без очернительства, но и без благостного любования архаикой, глубока, содержательна, не противоречива. В ней нашлось место и кротким старцам («Кастрюк», «Худая трава», «Мелитон»), и бессмысленно гибнущим в суете русской жизни богатырям («Захар Воробьев»), и трусливым и хладнокровным убийцам («Ермил»)... Объясняет внешнюю пестроту созданной Буниным галереи его замечание о двух народных типах: «Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона”, в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев». В «Окаянных днях», казалось бы, на первом плане оказались «обработанные» Емелькой Пугачевым. Но ведь были и другие, отодвинутые революционным разором на второй план. Не забудем так же и того, что бунинские размышления о русском человеке не ограничены крестьянским сословием: «Чудной *мы народ!* Пестрая душа!» (Курсив мой. — Т.Н.), — писал он все в той же «Деревне».

Суть бунинской позиции не в потребительском отношении к своей стране («мне не додано»), а в сыновнем раскаянии («не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»). «Окаянные дни» поэтому нельзя понимать лишь как проклятие большевизму. Разумеется, главные виновники распада страны для И.А. Бунина — большевики, поскольку они возглавили и осуществили ее разрушение. Однако в приближении «окаянных» дней повинны не только «революционные» моряки, но и погромщики типа Николки Серого. Бунинский дневник — об общем нашем русском «окаянстве» в старинном, еще В. Далем зафиксированном, значении слова. И как всякие глубокие и честные философские размышления «Окаянные дни» есть не только хроника испытаний людей и страны в годы революции, но и «миросозерцательная глубина» (Ф. Степун) бунинского понимания русского человека, его внутренних устремлений. И в этой связи необходимо еще раз вернуться к повести «Деревня», в которой, с моей точки зрения, не только дана жесткая характеристика Дурновки, но и намечены пути выхода из ее тупиков. И связаны, повторяюсь, бунинские надежды не с Дурновкой и Серым.

«Странно, неожиданно проявляются таланты на Руси и чудеса делают они при счастливых жребиях!», — читаем в рассказе «Соотечественник» (1916). С брянским мужиком Зотовым рассказчик беседует «в тропиках, под экватором», «в старинном доме голландской постройки». Место действия, портрет героя, кажется, не имеют аналогов в предшествующей бунинской прозе. Зотов даже внешне не похож на традиционных крестьян в онучах и лаптях. «...одетый во все белое, рослый, узловатый, огненно-рыжий, с голубой веснушчатой кожей, бледный и энер-

гично возбужденный, даже просто шальной, — от зноя, нервности, постоянного хмеля и деловитости, — с виду он не то швед, не то англичанин».

Правда, дальнейшее повествование заставит припомнить неуемную энергию Тихона Красова из «Деревни»: «Неутомимо гонял он за станowymi — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценнок землю». И только ахали окрестные мужики, «как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли...»

Как известно, в русской литературе немного позитивно оцененных энергичных выходцев из народа, к тому же готовых выйти из тесноты деревенского пространства в новую реальность. Напомним, что Тихон Красов, освободившись от Дурновки, отправляется в город с четким планом своих дальнейших действий. Собираясь приняться «за ссыпку» (торговлю хлебом), он обнаруживает знакомство с положением дел в стране и мире. Как известно, Россия до революции была одним из главных мировых поставщиков зерна. Все, связанное с торговлей хлебом, требовало не только вложения средств, но и развития техники, промышленности. Например, в связи с растущей продажей зерна в 1888 году в Ельце был сооружен первый в России элеватор на 400 тысяч пудов, исправно функционировавший и в XX веке.

Зотов, словно продолжая путь Тихона в рассказе «Соотечественник», не потерялся не только в Москве. «Он изездил всю Сибирь, побывал на Амуре, в Китае, споря нетерпением начать какое-нибудь собственное дело, — такое, которое привело бы его к обогащению. Кончил он тем, что вязался в большое чайное дело, устроив себе еще, кроме того, две службы, и вот уже шестой год пребывает здесь, в тропиках, облеченный немалыми полномочиями...»

Такая судьба, такой герой, кажется, далеки от «ближней» по времени традиции изображения крестьянина-землепашца. Зотов вызывает в памяти более «дальнюю» и не крестьянскую традицию. В XV веке тверской купец Афанасий Никитин отправляется по делам торговли на двух кораблях. Обстоятельства складываются так, что его путешествие растянулось на три года, а путевые записи, которые он вел, остались в памяти культуры не как советы торгового человека, а как иллюстрация удивительной судьбы, попытки преодоления ее вызовов.

Рассказ «Соотечественник» ближе к истории купца Афанасия Никитина и размахом путешествия, и непредсказуемостью сюжетных поворотов. Бунинские размышления о русском человеке, его «пестрой душе» получают в нем «всемирный» масштаб. Собеседника поражает в Зотове не только удивительная судьба вчерашнего мальчика на побегушках «при купеческом амбаре на Ильинке», но и многообразная смена ролей, которую демонстрирует этот переполненный жизненной энергией человек. Авантюрист и предприниматель сменяются в его исполнении хорошо осведомленным человеком «по части всяких закулисных тайн, редких афер и темных историй!» Болтливость и несдержанность в следующий момент чередуются со скрытностью и неожиданной простоватостью. Но моментом истины для повествователя становится Зотов в роли философа, потрясенного бескрайностью мира. «Он говорит — с тонкостью, страстностью и красноречием, которые никак нельзя было ожидать от него, — что он испытал чувства необыкновенные на пути сюда (в тропики. — Т.А.), в те жаркие звездные ночи, когда впервые глядел на Южный крест, на Канопус и на первозданные звездные туманности, что называются Магеллановыми Облаками, видел Угольные Мешки, эти траурные пролеты в бесконечность мировых пространств, и страшное великолепие Альфы Центавра, игравшей на совершенно пустом небосклоне, где точно начиналось какое-то безмерное, недоступное нашему разуму Ничто...»

Прекрасное знание звездного неба, всегда отличавшее бунинские повествования «от автора», стремительно сокращает расстояние между Зотовым и самим Иваном Буниным. Зотовские горячие уверения, «что он уже видел, чувствовал индийские тропики, может быть, тысячи лет тому назад», отзываются эхом бунинских стихов, циклом «восточных» рассказов, наконец, обращают к финальной книге Бунина «Освобождение Толстого». Подобные отзвуки-ассоциации, цепочки аллюзий, мотивов возникают в сознании читателя, включают рассказ «Соотечественник» в художественное целое бунинского мировидения. В данном случае можно и нужно говорить не о разработке типов и характеров, сюжетных особенностей, но о ритмическом совпадении тем и мелодий, о пунктире душевных состояний, об общем направлении духовных поисков И.А. Бунина, — поэта, удивительного прозаика и стилиста, глубокого философа. Рассказ «Соотечественник» — часть авторских размышлений о «пестрой душе» русского человека, сопровождавших писателя во всю его жизнь. О душе, которая в свои яркие, счастливые минуты оказывается способной стать частью мира и вечности, возможность еще раз повторить однажды открывшееся философу и поэту: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!»

